



ПОЛИТИКА

Г. И. Мусихин

## ИДЕОЛОГИЯ И ВЛАСТЬ<sup>1</sup>

**Ключевые слова:** идеология, власть, государство, национальная идея, политическая теория, политический дискурс, публичная политика

<sup>1</sup> Статья подготовлена в рамках индивидуального исследовательского проекта № 10-01-0083 «Современные тенденции в теории идеологии», осуществляемого при поддержке Научного фонда ГУ—ВШЭ.

В современной политической жизни стало триумфом утверждение, что у власти должны находиться истинные профессионалы-управленцы, владеющие эффективными механизмами решения социально-экономических проблем, а не демагоги-политиканы, спекулирующие на массовых политических пристрастиях. С идеологической точки зрения это не более чем попытка власть имущих освободиться от ценностного обоснования своего политического господства: они властвуют не потому, что являются достойными людьми с определенными политическими принципами, а потому, что владеют эзотерическим управленческим знанием, которое освобождает их от необходимости иметь политические убеждения.

Попытки властей предрержащих дистанцироваться от идеологии не новы и вполне объяснимы. Соотношение власти и идеологии определяется тем, что *политическая власть в любой ее форме не обладает какой-либо априорной «идеологией власти»* как беспрекословно принимаемой совокупностью убеждений, ценностей, моделей поведения и культурных стереотипов. Взаимодействие государства с идеологией (идеологиями) всегда представляет собой открытый сценарий. Иными словами, *притязания государства на идеологическую монополию суть именно притязания*, а не монополия как таковая. Можно сказать, что монополия идеологии (читай — национальная идея) есть не статус, а процесс, в ходе которого политическая элита (и контрэлита) пытается добиться от граждан общих убеждений, ценностей и культурных интерпретаций.

Данный процесс так или иначе восходит к двум важнейшим идеологическим потенциалам: *способности человека к преобразованиям и его склонности к созданию иерархических ценностных систем и суждений о мире*. Используя современный научный язык, этот процесс можно назвать дискурсом, точнее — «доминирующим дискурсом», и именно умение вырабатывать такой дискурс обуславливает доминирующие идеологические позиции политического класса.

На протяжении XIX—XX вв. власть имущим приходилось быть все более и более идеологичными (хотя они чаще всего пытались убедить граждан в обратном). Нарастающая необходимость в получении народного доверия увеличивала значение публичного политического курса, который мог (и может) получить массовую поддержку только на основе

идеологически мотивированных доводов, а не через пересказ учебников по экономике и менеджменту. Несмотря на разговоры о конце идеологии, успеха в современной политике добиваются те силы и люди, которые успешно обосновывают «идеологизированное будущее», а не те, кто демонстрирует способность решать конкретные политические проблемы.

### Публичное ценностное измерение власти

В свое время «фрейдистская оговорка» Бориса Грызлова, заявившего, что парламент — не место для дискуссий, вызвала массу язвительных замечаний со стороны журналистов и оппозиционных политиков. По сути, Грызлов воспроизвел архаичный политический идеал (если к нынешней российской политической элите вообще применимо понятие политических идеалов) *Ancient Régime*, ностальгию по которому в Европе одним из последних выразил лорд Солсбери в письме к королеве Виктории: «Этой обязанностью произносить политические речи, осложняющие работу Ваших слуг, мы всецело обязаны мистеру Гладстону»<sup>2</sup>. Это письмо было написано в 1887 г. и не предполагало публичного оглашения. То есть, в развитых парламентских странах уже тогда было очевидно, что политика старого режима безвозвратно уступила место идеологизированной легитимации политического курса. Ценностное обоснование политики существовало и прежде, однако общепризнанной идеологической легитимации власти стала не раньше рубежа XIX—XX вв. Именно с этого момента в передовых странах Запада постоянное публичное объяснение и обоснование действий власти перед обществом превратилось в непрерывный процесс. И обоснование это неизбежно осуществлялось в идеологических терминах.

Именно необходимость *идеологического обоснования* своей деятельности демонстрирует «*демократический лимит*» власти: политическая власть может представлять те или иные интересы народа или отдельных его частей, но она никогда не станет народом. Поэтому в условиях демократии власть как государственное управление не может обладать собственной ценностью, а значит, у нее нет никакой «априорной идеологии» как системы убеждений, принимаемой населением без дополнительных вопросов. Идеологическая составляющая деятельности выборного правительства всегда остается «открытым сценарием»: проявляется через обнаружение «истинных целей» политического курса. Именно за признание «истинности» своих целей борются политические оппоненты в условиях реальной политической конкуренции. При этом такая «истинность» носит идеологический, а не экспертный характер, ибо на экспертном уровне процесс государственного управления сейчас по большому счету не зависит от смены власти.

Однако не стоит отождествлять идеологическую легитимность с «*чистой*» политической верой; подобные моменты в политической жизни крайне редки (можно сказать — случайны). Гораздо больше диалектического потенциала в понимании идеологической

<sup>2</sup> Цит. по: Pugh 1982: 3.

легитимности содержится в известном афоризме Гоббса: «*auctoritas non veritas facit legem*», что, в сущности, означает: *если власть остается безнаказанной, она считается справедливой, пусть даже ей не верят в прямом смысле этого слова.*

Подобная неоднозначность общественного доверия создает почву для идеологической конкуренции, которая может развертываться на двух фронтах. На одном выдвигаются альтернативные цели, для достижения которых необходима политическая власть. Поскольку споры относительно задач современных демократических правительств, как правило, лежат в русле дискурса «общего блага», оппозиционеры могут убеждать избирателей, что данное благо состоит не в том, на чем настаивает действующее правительство<sup>3</sup>. Тем не менее в современной политике противостояние чаще всего концентрируется на другом фронте, где обсуждается конкретный политический курс. И здесь основные усилия конкурирующих политических сил направлены не на объяснение собственной платформы, а на доказательство того, что оппоненты не выполняют взятых на себя обязательств или не смогут их выполнить, получив контроль над государственным управлением.

В условиях усиления популизма как инструмента пропагандистской агитации и вместе с тем самостоятельной идеологии<sup>4</sup> значение идеологических споров по поводу успешности правительственного курса постоянно возрастает. Однако данный тренд есть следствие не только новейших политических тенденций, он — результат глобального перехода от «старого режима» к Современности и сопряженной с ним трансформации представлений об уместности власти: если прежде основой такой уместности выступал статус, то теперь — соглашение или договор. Именно эта трансформация привела к демонтажу традиционного органического *communitalium communitas*, в рамках которого было невозможно формирование современных идеологических дискурсов<sup>5</sup>. Только повсеместное распространение представлений о способном к самореализации индивиде сделало возможным появление идеологического дискурса/дискурсов как коллективного согласия или компромисса. Подобный характер идеологического дискурса отличает его от «чистой» веры, которая в контексте политики либо случайна (фрагментарна), либо опирается на вполне материальный репрессивный потенциал. Впрочем, следует отметить, что на рубеже XX—XXI вв. такого рода фрагментация стала усиливаться, получив автономное ценностное измерение под названием мультикультурализма<sup>6</sup>.

Одновременно в политике набирают силу представительные элементы, отвоевывающие смысловое пространство у политики как факта осуществления власти или обладания таковой. Сфера абстрактных политических понятий (свобода, справедливость, солидарность и т.д.) становится соизмеримой с фактической сферой политики. И хотя апелляция к фактам остается существенной частью политической риторики, сугубо фактологические дискурсы оказываются политически неуместными, так как политики (и особенно правители) теперь вынуждены

<sup>3</sup> См. Dijk 2004.

<sup>4</sup> Подробнее см. Мусихин 2009.

<sup>5</sup> Об этом см. Collini, Winch, Burrow 1983: 207—246.

<sup>6</sup> О мультикультурализме подробнее см. Мусихин 2007.

#### История взаимо- отношений идеологии и власти

объяснять, каким образом их фактическая власть отвечает абстрактным ценностям. И поскольку *во власти самой по себе нет ни свободы, ни справедливости, ни солидарности, политикам, борющимся за власть (или за ее сохранение), приходится вступать на чуждую власти территорию ценностно-культурного взаимодействия.*

Все вышесказанное не означает, что политические идеологии были и остаются лишь результатом формирования вневластных культурно-ценностных дискурсов. Власть имущие всегда пытались создать и навязать подданным то, что обобщенно можно назвать идеологией власти. Истоки такой идеологии кроются все в том же «старом режиме», когда отсутствовал потенциал для формирования конкурирующих идеологических дискурсов, так как приверженность тем или иным идеям была прерогативой исключительно аристократической элиты, но не «плебса» (конкурирующие идеологические дискурсы обязательно притязают на равное обладание истиной). Более того, даже недовольство элитой (городские восстания, ереси и крестьянские войны — неотъемлемая составляющая истории средневековья) до определенного времени не вызывало сомнений в необходимости и оправданности сословной и властной иерархии<sup>7</sup>.

Подобная модель ценностного обоснования власти была крайне уязвима перед лицом общественных трансформаций, поэтому ее коллапс был отнюдь не случайным. Изменение социального контекста потребовало от высшего политического сообщества, которое стало называться государством<sup>8</sup>, дополнительных усилий, направленных на сохранение идейной инициативы в ценностном обосновании власти в глазах всех значимых слоев общества. На практике это означало закрепление за государством монополии на объединяющую идеологию, которая бы служила интегратором общих для социума верований, ценностей и культурных стереотипов. В свою очередь, эта ситуация сделала неизбежным ценностный конфликт с иными культурными сообществами (религиозными или социальными), которые столкнулись с дилеммой: либо они должны были превратиться в носителей вторичных элементов государственной идеологии, либо их объявляли врагами государства со всеми вытекающими отсюда последствиями<sup>9</sup>.

Драматические события, связанные с утверждением монополии государства на объединяющую идеологию, хорошо известны. Если в протестантских странах (таких, как Англия или Пруссия) победа государства над другими культурными сообществами была предпринята, то в странах католических (таких, как Франция) она стала возможной лишь после формального исключения из политического пространства Церкви, претендовавшей на идейное первенство, путем отделения ее от государства и провозглашения светского характера последнего.

Но при любых обстоятельствах государство и конкретные его представители были поставлены перед необходимостью создания идео-

<sup>7</sup> См. Seibt, Eberhard 1987; Schmidt 1989; Nelson 2000.

<sup>8</sup> О становлении понятия государства см. Gesellschaft 1998.

<sup>9</sup> Яркую рефлексию описанного механизма можно найти в классической работе Карла Шмитта «Римский католицизм и политическая форма» (см. Шмитт 2000а).

логической платформы, в которой бы содержалось структурное определение отношений государства с подданными (гражданами). Таковую платформу, конституирующую представления нации о самой себе и одновременно выступающую инструментом ее формирования, можно условно назвать «конституционной идеологией».

Соответственно, одной из ключевых задач правящей элиты становится распространение «конституционной идеологии». Без закрепления данной «идеологии» осуществление властных функций оказывается если не невозможным, то, во всяком случае, чрезвычайно сложным, ибо любое действие властей может натолкнуться на непонимание и отторжение со стороны общества. При этом речь идет не только о некоем конституционном тексте или хартии; «конституционная идеология» охватывает всю систему регулирования и организации общественной и политической жизни<sup>10</sup> и касается не только мира ценностей, но и конкретных механизмов реализации политических решений. Идеологическое воздействие государства на граждан осуществляется через различные сферы их повседневной жизни — от школьного образования, транслирующего типичные образцы массовой культуры, до тех или иных политических практик (начиная с призыва в армию как приобщения к государственной системе обеспечения безопасности и заканчивая избирательным правом как способом включения в механизм принятия государственных решений).

Помимо «конституционной идеологии», правящая элита берет на вооружение «национальную идею», давая новому политическому сообществу имя нации. Вместе с тем использование национальной идеи для обоснования политического господства — явление относительно позднее. Как ни странно, но первоначально интеграция национального компонента в механизм государственного управления носила не столько социокультурный, сколько инструментальный характер<sup>11</sup>. В этом смысле соединение политического и национального было (с современной точки зрения) во многом искусственным (если не сказать — принудительным), хотя сами участники данного синтеза не считали его таковым. Достаточно вспомнить, что болезненные споры между Францией и Германией о национально-языковой принадлежности Эльзаса и Лотарингии начались только в XIX в.<sup>12</sup>

На первых порах политический и юридический компоненты явно доминировали над собственно национальными. Причины этого легко понять на примере становления «национального языка». Распространение «государственной идеологии» требовало унифицированной языковой коммуникации, подвластным должно было быть понятно, о чем говорит власть. Отсюда — необходимость узаконения «государственного языка», которое хотя и опиралось на определенный языковой контекст, но без особо бережного отношения к нему. Языковое многообразие государств в Европе начала Нового времени было повсеместным явлением, но все языковые варианты за рамками административно утвержденного государственного языка вытеснялись с политического и даже культурного поля в сферу архаичных диалектов. Язык, выбранный в качестве

<sup>10</sup> Об этом см. Brunner 1956.

<sup>11</sup> См., напр. Laitin, Soke, Kalyvas 1994.

<sup>12</sup> Hartweg 1989.

государственного («национального»), поддерживался посредством «административного ресурса» — через систему образования, литературу, театр, периодические издания. Другие языки утрачивали не только и даже не столько культурное значение, сколько юридический статус, превращаясь в просторечие (читай — безграмотность). Естественно, что владение «национальным языком» становилось обязательным условием принадлежности к политической элите. Как показывает европейская история, те страны, в которых подобной языковой унификации не происходило (например, империя Габсбургов), были обречены на неустойчивость и распад. Единственное исключение — Швейцария, сумевшая использовать конфедеративную идею вместо национальной.

Однако инструментальный способ создания политического сообщества по определению ущербен, а само такое сообщество неизбежно носит фрагментарный характер. Путем простой ликвидации прежних общественных структур и трансляции новых правил невозможно добиться интеграции граждан в конституционную систему. Необходим механизм реального (пусть даже частичного) участия в ней. Таким механизмом стали политические партии — одно из важнейших «политических изобретений» Запада. При всей своей кажущейся простоте партии как форма политического участия вобрали в себя массу свойств, тем более что, являясь средством получения доступа к конституционной системе (хотя бы в качестве оппозиции<sup>13</sup>), они выступали и отражением социальной идентификации с теми или иными частями нации.

Партии одновременно подпитывались и ограничивались конституционно закрепленными способами приобщения к власти и вместе с тем апеллировали к праву общественных сил на независимое развитие. Кроме того, именно партии исторически поддерживали и культивировали универсальные качества тех социальных слоев, от имени которых выступали. Другими словами, партии — это не естественный структурный элемент общества, развивавшийся по ходу становления современного государства, а интерпретаторы конституционной системы, опирающиеся в своих интерпретациях на некие социальные основания.

Можно сказать, что партии есть результат своеобразного национального и социального моделирования на основе свода общих (конституционных) правил. Так, социалистические (рабочие) партии никогда не были частью (в социологическом смысле слова) рабочего класса, они — носители абстрактного мировоззрения пролетариев той или иной страны. Аналогичным образом, религиозные католические партии — это не «политическое оружие» в руках католической Церкви, но носители абстрактной (и всегда национально окрашенной) идеи католицизма.

Примечательно, что при формировании современных политических партий зачастую использовалась не логика развития групп интересов, но конституционная логика правового государства: представительство, права и обязанности членов, централизованный механизм принятия решений, блокирующий индивидуальное несогласие. Более того, с определенного момента именно партии (прежде всего либеральные)

<sup>13</sup> Groh 1973.

начинают претендовать на единственно верное понимание «конституционной истины». Наиболее примечательным в этом отношении является высказывание Джозефа Чемберлена в 1870 г.: «Мы надеемся, что уже не за горами время, когда мы сможем увидеть то, что можно назвать заседанием подлинно либерального парламента, действующего вне имперской легислатуры и в отличие от нее избранного путем всеобщего голосования и с некоторым вниманием к честному распределению политической власти»<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Marsh 1994: 37.

О том, что к концу XIX в. партии уже не воспринимались как политические (и даже парламентские) клубы по интересам, свидетельствует название одной из глав знаменитого «Правящего класса» Гаэтано Моска: «Церкви, секты, партии»<sup>15</sup>. Партии превратились в учреждения, которые предлагали своим членам определенную ценностную картину мира и систему мировоззрения как предварительные условия для принятия политических решений. Отныне не идейная общность вела к объединению в партии, а партии генерировали идеи, способные привлечь новых последователей, которые видели в этих идеях достойное объяснение окружающему миру.

<sup>15</sup> Моска 1994: 97.

Однако подобная экспансия партий в сферу идеологий неизбежно повлекла за собой фрагментацию политического мира. Развитие и укрепление соперничающих идеологий затрудняло диалог власти с гражданами. Как показал на примере Веймарской республики Шмитт, политические обязательства начали ассоциироваться с партийной принадлежностью, и, воспользовавшись этим, партии превратили государство в механизм удовлетворения своих желаний<sup>16</sup>. Возникла ситуация, когда распространение государственной политики натолкнулось на барьер, образованный партийными идеологиями, отличными от государственной «национальной идеи». Можно даже сказать, что сама «национальная идея» все больше приобретала партийный характер, теряя свой изначальный смысл. На уровне конкретного механизма принятия политических решений это привело к тому, что правительство стало отождествляться с правящей партией. Как следствие, диалог власти с обществом постепенно утрачивал значение интегратора общественной жизни, вводя формирующееся массовое общество в состояние ценностной растерянности.

<sup>16</sup> Шмитт 2006.

Ответом на этот кризис стала фашистская диктатура, посредством радикальной националистической демагогии восстановившая видимость единства «национальной идеи» и общества. По существу, фашизм завоевывал позиции как чисто коммуникативная структура, основанная на политическом дискурсе. В определенном смысле фашизм свел национальные ценности к националистическому и расовому дискурсу. Такая «подмена» ценности дискурсом позволила фашистской пропаганде пользоваться изощренными риторическими приемами, которые при дискуссии на ценностном уровне были бы невозможны. В этом плане замечание Геббельса о том, что чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят, является универсальным выражением сути фашистской дискурсивной коммуникации с обществом.

Естественно, что, завоевав власть, фашисты приняли все меры к тому, чтобы сохранить за собой рычаги идеологического доминирования. И если отдельные фашистские режимы допускали определенную степень экономической свободы, то в том, что касается школьного образования, СМИ, искусства, контроль был неизменно жестким и директивным. Только тотальный идеологический контроль обеспечивал фашистским диктатурам возможность успешной коммуникации с населением. Политический дискурс фашизма не предусматривал иных вариантов: во-первых, захватывая власть, фашисты анонсировали свой путь как единственный способ «спасения» от надвигающейся «катастрофы»; во-вторых, борьба с виновниками надвигающейся катастрофы (большевизм, международный еврейский заговор, враждебное окружение) оправдывала отсутствие идеологической дискуссии, поскольку любые сомнения в верности избранного пути могли трактоваться как диверсия.

Именно негативному опыту фашизма мы во многом обязаны тем, что конституционная демократия возрождалась как реально многопартийная — и идеологически многообразная. Но для существования такой демократии наличие демократического конституционного текста было уже недостаточно. «Конституционная идеология» как государственная или национальная идея более не могла ассоциироваться с какой-то одной партией, даже если та вносила решающий вклад в общенациональный ценностный консенсус.

Как следствие, во второй половине XX в. «конституционная идеология» потеряла идеологическую целостность. Идеологический текст уступил место идеологическому диалогу, причем диалогу конкурентному. Иными словами, современная национальная идея если и возможна, то только как признание правомерности сосуществования различных идеологических позиций. Это те дискурсивные рамки, которые не позволяют «чистым» идеологическим дискурсам достигнуть смысловой завершенности, представив «своих» носителями «добра», а «чужих» — носителями «зла»<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Подробнее см. Dijk 1984.

Сказанное не означает, что механизм идеологического исключения перестал действовать. Стоит той или иной политической идеологии нарушить границы конституционного дискурсивного консенсуса, как ее принципы объявляются не просто ценностно порочными, но и юридически неприемлемыми. Так, фашистская идеология/пропаганда повсеместно запрещена законом. В этом смысле коммунистическая идеология продемонстрировала большую гибкость. Достаточно вспомнить такое явление, как еврокоммунизм: не отказываясь от коммунистических принципов, европейские коммунисты отказались от задачи построения коммунизма, чем обезопасили себя от юридических санкций, ибо не вышли за рамки идеологического дискурса о политике как о процессе, а не способе достижения радикальной цели.

Одним из главных на сегодняшний день вызовов для западного идеологического консенсуса-диспута является религиозный (особенно исламский) фундаментализм. При том что механизм идеологического

дискурсивного исключения по отношению к фундаментализму работает весьма жестко, доля носителей фундаменталистской идеологии в западных конституционных демократиях неуклонно растет. Не имея возможности анализировать здесь идеи мультикультурализма, отметим, что сам мультикультурализм сталкивается с серьезными внутренними проблемами, когда речь заходит не просто о сосуществовании культур, но о соизмеримости ценностей (в политическом смысле — идеологий)<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> См. Мусихин 2007.

Возвращаясь к проблеме конфликта идеологий в условиях современной конкурентной демократии, следует констатировать, что сценарий, по которому развиваются механизмы выстраивания идеологического диалога, носит открытый характер. Самый простой способ интеграции той или иной идеологии в общегосударственный консенсус — это знаменитый принцип «Оппозиция Ее (Его) Величества», использование которого некогда позволило превратить парламентские дискуссии в освященную конституцией систему правления.

Однако если бы все сводилось к такого рода «властной ассимиляции», идеологии социалистического толка были бы обречены оставаться за пределами конституционного консенсуса, ибо их носители не могли стать частью политического истеблишмента без ущерба для собственной ценностной самоидентификации (в основе своей изначально революционной), а «конституционная идеология» по определению не могла интегрировать в себя революционный компонент.

Выход был найден не в изменении смысла идеологии (*идеология, меняющая свой смысл, — бессмысленна, если только не становится принципиально другой идеологией*<sup>19</sup>), а в содержательной трансформации идеологического дискурса. Если в XIX — начале XX в. сторонники революционных ценностей дискутировали со своими оппонентами в категориях истинного/ложного (добра/зла), то затем спор о революционной перспективе переместился в сферу реального/нереального (осуществимого/неосуществимого). Такая изощренная риторическая подмена (от идейной верности принципам социализма социал-демократы, не говоря уже о коммунистах, никогда прямо не отказывались) до неузнаваемости изменила идею диалектического революционного процесса. *Отныне диалектика состояла не в развитии через разрушение, а в интеграции через критику.* В этом плане весьма показательным само название знаменитой «критической теории общества». Ее приверженцы (никогда не скрывавшие своих марксистских, а значит — революционных корней) объявили современную конституционную/либеральную/буржуазную демократию бессмысленной, но при этом не призвали к ее ликвидации<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Можно предположить, что нечто подобное произошло с российскими коммунистами, которые из приверженцев социализма как универсальной идеологии превратились в приверженцев популизма как идеологии фрагментарной.  
О популизме как идеологии см. Мусихин 2009.

<sup>20</sup> О бессмысленности либеральной демократии см. Habermas 1975.

**Механизмы взаимодействия власти и идеологии**

Естественно, что интегральная «национальная идея»/«конституционная идеология» укореняется не посредством идеологического дискурса как такового, а через конкретные механизмы воздействия на общество.

*Первым* таким механизмом служит система массового образования. Именно этот механизм ежедневно (в прямом смысле этого слова) формирует общие культурные нормы и ценностные стереотипы, передающиеся из поколения в поколение. Действие данного механизма в европейских и североамериканских обществах прослеживается на протяжении как минимум двухсот лет.

*Вторым* механизмом «производства» общегосударственной идеологии является комплекс элементов политического режима, вне зависимости от того, носят ли они обязывающий характер (система государственного управления, сбор налогов, особенности регионального устройства и т.д. вплоть до правил дорожного движения) или приводятся в действие добровольной активностью граждан (деятельность политических партий, выборы и т.д.).

И, наконец, *третьим* механизмом, о котором много говорят и пишут, но который менее всего исследован, — это трансляция идей. В современном мире данная сфера фактически монополизирована СМИ. Нынешние средства массовой информации (прежде всего телевидение) создали уникальный общенациональный форум, в котором информация распространяется мгновенно, что открыло перед властью и политиками вообще возможность быстрого и тотального внушающего воздействия, одновременно лишив такое воздействие значительной части нормативно убеждающей (то есть идеологической) силы. Утверждение телевидения с его упором на визуальное восприятие сделало форму подачи аргументов важнее самих аргументов, тем более что вследствие меньшей информационной насыщенности аудиоряда он просто не поспевает за «картинкой»<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Об особенностях телевизионного восприятия см. Turner 2007; Baum, Groeling 2008; Saito 2008; Carpentier 2009.

В итоге *дискуссионно-аргументирующие виды политического дискурса все больше уступают место безапелляционно-утвердительным*. Политические идеи вытесняются политическими слоганами, способными *удовлетворить, но не убедить*. Тем не менее неверно полагать, что телевидение открывает безграничные возможности для манипуляции массовым сознанием. В известном смысле дело обстоит в точности наоборот. Если раньше трансляция политических убеждений осуществлялась главным образом в ходе массовых мероприятий (что, с одной стороны, вело к социальной мобилизации, а с другой — порождало психологию толпы), то теперь процесс усвоения политической информации принял форму индивидуального «общения с телевизором». То есть, хотя политическое воздействие телевидения воистину тотально, результат этого воздействия на уровне социума случаен и совершенно непредсказуем. В силу этого сегодня как нельзя актуальны прозрения Шмитта о непредзаданности политического решения и его последствий<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Шмитт 2007.

Но при всей важности механизмов властного идеологического воздействия на общество необходимо помнить, что стержневые элементы *семантической памяти* любой национальной культуры формируются скорее антропологически, нежели бюрократически или даже

организационно. Основополагающие речевые конструкции национально-государственного сообщества, несущие в себе принципиальное ценностное содержание, создаются не в результате целенаправленного информационного, политического и даже образовательного воздействия, они есть результат массовых переживаний и рефлексий значимых (пограничных) ситуаций в жизни общества. Можно сказать, что национальная идея как словесно зафиксированная конструкция возникает в условиях глубокого политического кризиса.

Кризисы играют огромную (если не ведущую) роль в формировании общих политических дискурсов. Образно говоря, *в период кризиса общество узнает само себя*. В острые переломные моменты, когда встает вопрос о сохранении «нас» как национально-государственного субъекта, для осуществления необходимых (и неизбежных) перемен требуются принципиальные политические решения. Однако принять их могут только те политические силы, которые докажут *обоснованность своего толкования кризиса*.

Здесь мы сталкиваемся с комбинацией двух очевидно идеологических видов деятельности. *Первая* из них проистекает из способности людей к выработке и иерархическому позиционированию ценностей и суждений о мире. Именно контроль над ключевыми политическими дискурсами определяет, какие политические силы являются правящими, а какие — оспаривающими власть. Как бы ни была сильна критика существующей власти, если эта власть контролирует ключевые политические дискурсы, критикующие ее субъекты политики будут самоопределяться только через отношение к ней. Иными словами, оппозиция, не притязаящая на контроль над ключевыми политическими дискурсами, не в состоянии устанавливать политическую повестку дня. Не обладая *собственной автобиографической памятью*, такая оппозиция *обречена говорить чужим языком и на чужие темы*. Ей просто нечего сказать гражданам. Даже сочувствуя оппозиции, последние не будут понимать, какие обязательства они могли бы на себя взять, откликаясь на ее призывы. Поэтому идеологический смысл значимости правительства в современном мире не в бюрократическом могуществе или формальной политической организации, а в *способности побудить граждан к исполнению своих политических обязательств*. Без этого политические решения в современном мире перестают быть решениями как таковыми.

*Второй* вид идеологической деятельности связан с семантической памятью. Именно здесь наиболее отчетливо проявляется ограниченность индивидуального человеческого опыта. Все индивиды так или иначе принадлежат (или хотят принадлежать) к некоему общественному контексту, который фиксирует в значимых словесных конструкциях переживания критических моментов политической жизни. Этот неизбежно коллективный механизм словесной фиксации норм и принципов и порождает базовую ценностную идентичность всякого сообщества (нации). Речь идет не о формировании неких психологических

склонностей или ментальных установок, а о *коллективном наделении смыслами тех или иных проявлений общественной жизни*.

Разумеется, автобиографическая и семантическая память не образуют две параллельные реальности; их переплетение и перетекание друг в друга определяет логику развития ценностных представлений о политике. *Самый очевидный механизм перетекания автобиографической памяти в семантическую — политическая мифологизация*, когда тенденциозное понимание должного в политике, сформированное правящими группами, начинает жить самостоятельной семантической жизнью и может вернуться к своим создателям в виде «идеологического бумеранга». Так произошло, в частности, с «мифом основания» послевоенной европейской демократии, создатели которой «увидели» ее первоисточник в движении Сопротивления. Однако на рубеже 1960—1970-х годов эта безусловно тенденциозная картина становления послевоенной демократии породила массовое недовольство существующей политической реальностью, что привело к знаменитой «молодежной революции», поколебавшей позиции всех творцов «мифа основания».

Взаимодействие между автобиографической и семантической памятью может носить и конфликтный характер. В последнем случае можно предполагать, что попытки той или иной доминирующей политической силы внушить обществу свое понимание социальной реальности потерпели неудачу. Один из ярчайших тому примеров — ценностная интерпретация рыночных реформ начала 1990-х годов в России. Как бы аргументированно инициаторы реформ ни доказывали их неизбежность<sup>23</sup>, все их доводы блокируются сформировавшейся семантической памятью, согласно которой *кризис — это когда купить не на что, а не когда купить нечего*.

Как показывает опыт новейшего времени, при преодолении последствий переломных кризисов наиболее эффективными оказываются те попытки «дискурсивной манипуляции» событиями, при которых учет нового соотношения сил сочетается с апелляцией к традиции. Именно в способности добиться такого сочетания во многом и кроется разгадка успеха ХДС/ХСС в послевоенной Германии. При очевидном новаторстве своей политики (преодоление протестантско-католического противостояния внутри страны, недвусмысленная североатлантическая солидарность и курс на европейскую интеграцию) Конрад Аденауэр сумел позиционировать себя в качестве гаранта традиционных ценностей национальной общности, которые в условиях тотальной дискредитации нацизма ассоциировались с христианской самоидентификацией немцев<sup>24</sup>.

Однако удачный акт основания «государственной идеологии» не означает, что та закрепится в качестве «несгораемой суммы» общих политических ценностей. Будучи ориентирована на общенациональный консенсус, «государственная идеология» всегда находится перед угрозой того, что ситуативно сложившийся баланс потребует соединения идеологически несовместимых политических позиций. Так случилось

<sup>23</sup> Подробнее см. Clemens 1989; Geschichte 1986: 199—218; Kramer 1988.

в Италии при создании пятипартийной коалиции, когда католической христианской демократии пришлось вступить в союз с атеистической социалистической партией. Нечто подобное имело место в Германии в 1966 и в 2004 гг., когда ХДС/ХСС и СДПГ были вынуждены пойти на создание «большой коалиции», хотя весь конституционный дизайн предполагал противостояние этих сил как правящей партии и оппозиции (вне зависимости от перемены мест)<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Hildebrand 1984; Schmoeckl, Kaiser 1991; Nicholls 1997: 186—220.

С иного рода проблемой столкнулись английские лейбористы во главе с Гарольдом Вильсоном, оказавшиеся перед дилеммой: продолжение государственной экспансии в экономику (и падение эффективности вкупе с технологическим отставанием) или модернизационные реформы (и угроза социальным завоеваниям государства всеобщего благоденствия)<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Pimlott 1992; Morgan 1998: 132—62.

И хотя во всех трех случаях на общенациональном уровне восторжествовала «государственная идеология» (пятипартийная коалиция как принцип формирования правительства просуществовала в Италии вплоть до середины 1990-х годов; «большая коалиция» в Германии не трактовалась как отказ от принципов составительской демократии; во времена Вильсона лейбористы в основном находились у власти), впоследствии данная «идеология» подверглась осуждению (на пятипартийную коалицию возложили ответственность за расцвет коррупции; «большая коалиция» распадалась при первом же удобном случае; период правления Вильсона стали называть «потерянными годами»).

Все это лишний раз свидетельствует о том, что при всей кажущейся устойчивости «государственной идеологии» — более подвижное и изменчивое образование, нежели идеологии *per se*, ибо ситуативный общенациональный консенсус (в том числе ценностный) требует гораздо больших трансформаций, чем это допустимо для концептуального ядра любой идеологии. В связи с этим выглядящие незыблемыми идеи, лежащие в основе «государственной идеологии», могут в зависимости от контекста содержать в себе разный смысл<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> О текучести смыслов «вечных идей» см. Kaselleck 1979; Skinner 2002.

\* \* \*

На протяжении XIX—XX вв. власть все более идеологизировалась, что нашло выражение как в поиске массовой общественной поддержки, так и в публичном анонсировании политических программ. Этот процесс получил очевидное институциональное закрепление. В настоящее время правительственный курс опирается на волеизъявление избирателей (не важно, корректно оно зафиксировано или нет), а не на суверенную власть как таковую (даже если сувереном выступает народ), а значит, политический курс есть результат определенного широкого консенсуса, выраженного в политических дискурсах. Параллельно менялся сам характер парламентского доверия к правительству. Если раньше такое доверие было следствием реальных действий правительства, то теперь оно базируется главным образом на политической программе,

выработанной для завоевания власти, что, вне всякого сомнения, выходит за рамки классического конституционализма. При этом спор в публичном пространстве ведется не столько о конкретных механизмах управления обществом (они во многом универсальны), сколько о способности предложить последнему более привлекательную политическую (точнее — идеологическую) перспективу.

В этих условиях значение идеологического дискурса (не путать с брендами-однодневками) становится фундаментальным. Поддержку получает тот, кто может представить свою идеологическую позицию как устремление большинства. В этом смысле знаменитый тезис о «конце идеологии» сам может быть интерпретирован как попытка ценностного (то есть идеологического) обоснования господства носителей неких прагматических знаний. Ибо совершенно непонятно, почему мы должны доверять квалификации больше, чем убеждениям, если только не подразумевается, что квалификация предполагает наличие тех или иных убеждений или даже тождественна им.

#### Библиография

- Гайдар Е.Т. 2009. *Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция*. — СПб.
- Моска Г. 1994. Правящий класс // *Социологические исследования*. № 12.
- Мусихин Г.И. 2007. Плюрализм политических ценностей или всеобщий императив свободы личности: выбор не предопределен? // *Полития*. № 3.
- Мусихин Г.И. 2009. Популизм: структурная характеристика политики или «ущербная идеология»? // *Полития*. № 4.
- Шмитт К. 2000а. Римский католицизм и политическая форма // Шмитт К. *Политическая теология*. М.
- Шмитт К. 2000б. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Шмитт К. *Политическая теология*. М.
- Шмитт К. 2007. Разговор о власти и о доступе к властителю // *Социологическое обозрение*. № 2.
- Baum M.A., Groeling T. 2008. New Media and the Polarization of American Political Discourse // *Political Communication*. № 25.
- Brunner O. 1956. *Neue Wege der Sozialgeschichte. Vorträge und Aufsätze*. — Göttingen.
- Carpentier F.R. 2009. Effects of Priming Social Goals on Personal Interest in Television News // *Journal of Broadcasting and Electronic Media*. № 53 (2).
- Clemens C. 1989. *Christian Democracy: The Different Dimension of a Modern Movement*. — Brussels.
- Collini S., Winch D., Burrow J.W. 1983. *That Noble Science of Politics*. — Cambridge.
- Dijk T. van. 1984. *Prejudice in Discourse: An Analysis of Ethnic Prejudice in Cognition and Conversation*. — Amsterdam, Philadelphia.

- Dijk** T. van. 2004. Discourse, Knowledge and Ideology // Puetz M., Neff J., Dijk T. (eds.) *Communicating Ideologies. Multidisciplinary Perspectives on Language, Discourse and Social Practice*. — Frankfurt a/M.
- Geschichte der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Bewegungen in Deutschland**. Bd.1. 1986. — Köln.
- Gesellschaft. Staat. Nation. Gesammelte Aufsätze**. 1998. — Klett-Cotta, Stuttgart.
- Groh** D. 1973. *Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die Deutsche Sozialdemokratie am Vorabend der 1. Weltkrieges*. — Frankfurt a/M.
- Habermas** J. 1975. *Legitimation Crisis*. — Boston.
- Hartweg** F. 1989. 1789: Sprachkampf im Elsas: Das revolutionäre Denken und die unteilbare Nation // *Dokumente*. Jg. 45. H. 6.
- Hildebrand** K. 1984. *Von Erhard zur Grossen Koalition, 1963—1969*. — Stuttgart.
- Koselleck** R. 1979. *Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. 3. Aufl. — Frankfurt a/M.
- Kramer** R. 1988. *Sozialer Konflikt und christliche Ethik*. — Berlin.
- Laitin** D.D., Sole C., Kalyvas S.N. 1994. Language and the Construction of States: The Case of Catalonia in Spain // *Politics and Society*. Vol. 22. № 1.
- Marsh** P.T. 1994. *Joseph Chamberlain. Entrepreneur in Politics*. — New Haven.
- Morgan** K.O. 1998. The Wilson Years: 1964—1970 // Tiratsoo N. (ed.) *Blitz to Blair. A New History of Britain since 1939*. — L.
- Nelson** E.W. 2000. Defining the Fundamental Laws of France: the Proposed First Article of the Third Estate at the French Estates General of 1614 // *English Historical Revue*. Vol. 115. № 464.
- Nicholls** A.J. 1997. *The Bonn Republic. West German Democracy 1945—1990*. — L.
- Pimlott** B. 1992. *Harold Wilson*. — L.
- Pugh** M. 1982. *The Making of Modern British Politics 1867—1939*. — Oxford.
- Saito** S. 2008. Television and Political Alienation: Does Television News Induce Political Cynicism and Inefficacy in Japan? // *International Journal of Japanese Sociology*. № 17.
- Schmidt** G. von. (Hrsg.) 1989. *Stände und Gesellschaft im Alten Reich*. — Stuttgart, Wiesbaden.
- Schmoeckl** R., Kaiser B. 1991. *Die vergessene Regierung*. — Bonn.
- Seibt** F. von, Eberhard W. (Hrsg.) 1987. *Europa 1500: Integrationsprozesse in Widerstreit: Staaten, Regionen, Personenverbände, Christenheit*. — Stuttgart.
- Skinner** Q. 2002. *Visions of Politics. Vol. I: Regarding Method*. — Cambridge.
- Turner** J. 2007. The Messenger Overwhelming the Message: Ideological Cues and Perceptions of Bias in Television News // *Political Behavior*. № 29.